

На фронте и в побежденной Германии

Моя фронтовая разведотдельская семья

В верхнем левом — «архивном» — ящике моего письменного стола хранится фотография, которую я прислал в 1945 году своей маме из действующей армии. Надпись на оборотной стороне этой карточки кажется мне теперь диковатой, но она — вполне в духе моей юности, пришедшейся на последние два года той действительно великой войны. Ведь стороны готовились к ней долго, проявляя при этом невиданное дипломатическое коварство, изворотливость и хитрость; в ходе ее были разыграны величайшие, непревзойденные по размаху и мастерству сражения, убито на них было великое множество людей — миллионов под пятьдесят-шестьдесят, ранено еще миллионов полтора-два. А сколько женщин остались без мужей, братьев, сестер и детей, потеряли кров, да к тому же еще и были изнасилованы, статистика не сообщает, даже приблизительно, здесь статистика совершенно бессильна...

Итак, надпись на обороте посланной матери фронтовой карточки гласила: *«Посылаю фотографию, где я снят среди боевых товарищей по работе. Последние полтора года вместе с ними делили радость и горе и переносили боевые невзгоды. Карточку прошу сохранить для меня».*

Мать моя, Нина Павловна Крячко, карточку сохранила.

На фотографии — пять мужчин в гимнастерках с погонами. Это моя фронтовая семья. Правда, не вся. И не первая. В первую я попал через полгода после того, как в январе 1943-го меня, семнадцатилетнего юнца, забрали из-под теплого крылышка моей мамы в холодный, вьюжный городок Сенгилей, что на Волге, в пехотное училище. Там я, по приказу командования, месяца три перетаскивал с ребятами по льду



Моя фронтовая разведотдельская семья. Лето 1944 года.

бревна из-за Волги на наш берег (бревна были жизненно нужны городу в ту суровую зиму), а ночами кормил на нарах вшей. Когда я их впервые увидел, я даже не сообразил, что это такое, и удивленно спросил о них у лежавшего рядом приятеля Кольки, с которым был вместе мобилизован в городе Пенза (кстати, на фронте вшей изводили).

Так вот, три месяца я таскал бревна, привык голодать, если к этому вообще можно «привыкнуть», а вши да верхний рубец жесткого армейского ботинка изъязвили мне правую ногу, наградив единственным моим боевым рубцом (впрочем, что считать рубцом?). Потом я ровно три месяца пролежал в госпитале уже в Саратове (язвы никак не хотели заживать в сенгилейской санчасти). В госпитале справились с язвами, я немного отъелся и отлежался в чистой постели и был выписан, когда в палатах стало не хватать мест для раненых на Курской дуге. С такой вот солидной боевой выучкой и был отправлен я на фронт вместе с друзьями моими в июле 43-го, прямехонько в ад Великой Отечественной. Ехали на фронт мы по железной дороге, буквально обложенной с обеих сторон покореженными и почему-то перевернутыми днищем вверх «тридцатьчетверками». Вдохновляющее было зрелище...

Ребята, правда, в отличие от меня, подучили в Сенгилее, благо Волга разлилась весной и таскать бревна они перестали. И они уже умели ползать, кое-как стрелять, в том числе даже из миномета, но особенно хорошо — колоть штыком. Этому учили и в Сенгилее, и потом в Саратове, хотя я сроду не видел на фронте винтовок со штыками. По приезде на фронт я попал в Минбатарю 120 мм — благодаря своему росту, 176 см. Перед отправкой на передовую нас построили на какой-то поляне и поделили пополам: более рослых — в минометчики, чуть подальше от передовой; менее рослых — в пехоту, сразу под пули. Через две-три недели боев оставшихся в живых минометчиков, бойцов взвода охраны полка, да и кое-кого из писарей снова выстроили на какой-то поляне и снова поделили — кому на прежнее место, кому — сразу под пули; пехоту к этому времени у нас в полку почти всю повыбило, потери надо было восполнить...

Минбатаря 120 мм, где я дорос до должности командира миномета (он же и наводчик), стала первой моей боевой семьей. Но о минометной работе вроде все и так правдиво рассказал Окуджава в повестушке «Будь здоров, школяр», что мне не стоит повторяться; а эти записки о той поре моей юности, которая прошла в разведотделе славного 8-го Гвардейского Прикарпатского, Лодзинского, Берлинского и прочая и прочая мехкорпуса 1-й Гвардейской танковой армии. Членом моей второй фронтовой семьи я стал, благодаря мало-мальскому знанию немецкого языка.

Пятеро мужчин в гимнастерках, запечатленных на фотографии, которую я послал маме, а ныне вот публикую, и были второй моей боевой семьей, вернее — ее главной частью.

Представляю: трое, офицеры-разведчики, — это наше начальство. Они сидят на стульях в первом ряду. Двое — старшины, стоят за ними. Это я и второй наш, а точнее первый разведотдельский военпереводчик 1-го разряда Александр Александрович Фишер, он же Сан Саныч. Он на карточке получился почему-то ниже меня ростом, хотя на самом деле был мужчина видный, солидный, убеленный сединой, повыше меня. Когда у нас с ним в 45-м появились после очередной реквизиции черные бархатные погоны с золотой поперечной буквой «Т», все пленные, как один, принимали пожилого Сан Саныча за генерала и вытягивались перед ним в струнку. Соперничать с ним по части владения немецким языком у меня вообще не было шансов — Сан Саныч происходил из чистокровных немцев, хотя, впрочем, был вполне советским человеком и отважным бойцом, награжденным двумя военными орденами.

Но рассказывать надо все же как-то по воинскому регламенту, и потому начну рассказ заново — с главы семьи.

Он сидит в центре, как ему положено по чину и должности. Это начальник разведотдела 8-го Гвардейского мехкорпуса 1-й Гв. танковой армии подполковник Андряко. Ему под сорок, он сухопар, строен и явно позирует. Взгляд у него — чуть надменный и какой-то хищноватый, одновременно на добычу устремленный и зорко следящий за тем, что делается по сторонам. Такой взгляд я видел однажды, уже после войны, в Москве на трамвайной остановке у карманника, который облюбовывал очередную свою жертву, и мне сразу вспомнился Андряко. Он и был в молодости беспризорником, потом детдомовцем, потом курсантом училища, потом кадровым офицером, но ухватки своей с трудом обузданной юности сохранил до времен войны и в разведку попал недаром. Дерзкий, нагловатый, но всегда расчетливый, он выполнял во время прорывов нашей танковой армии всегда какие-то важные задания. Что они были важны — спору нет. Но мне вот почему-то казалось, что Андряко не любил во время операций оставаться в штабе корпуса вблизи начштаба полковника Воронченко — тот мог в любой момент дать ему какое-то сверхважное непредвиденное и опасное задание. А душе нашего Андряко требовалось не просто выполнять какие-то опасные и важные задания, но и погулять на фронтовой вольной воле. И эту волю он себе давал, бросая наш боевой разведотдельский бронетранспортер от бригады к бригаде, никогда не зарываясь слишком далеко вперед и в нужный момент быстро покидая то место, где становилось чересчур жарко, — танковой разведке не обязательно лезть в самое пекло...

Во время постоянных разъездов Андряко по бригадам руководить разведкой в штабе корпуса оставался майор Глыбовский, замначразведотдела, — собственно для руководства разведкой корпуса и Сан Саныч — для обработки доставляемых в штаб пленных. Меня же Андряко всегда забирал с собой — ему требовался еще и личный переводчик. Хотя, впрочем, допросить пленного вблизи передовой, в бригаде, или отправить меня в небольшую рекогносцировку в несколько неясной ситуации было порой действительно полезно — и для Андряко, и для дела.

Заместитель начальника разведотдела — майор Глыбовский — сидит рядом с шефом справа. Взгляд у майора с хитроватым прищуром, на губах застыла ухмылочка — он прекрасно знает цену и себе, и всем нам, знает, что на нем-то, бывшем главбухе крупного иркутского завода, и держится в корпусе вся разведдеятельность. Держится прочно, ибо майор как-то нутром угадывает замыслы противника, в боях может быстро — по показаниям случайных пленных и по обрывкам скупых донесений — склеить для Начштаба почти всегда точную карту распо-

ложения сил во вражеском стане. Соображает он мгновенно и не теряется в любой обстановке. В штабе он думает «за противника» — предугадывает, в какой бок и когда тот соберется бить, а удары в бок нашей наступающей 1-й Гв. танковой армии, особенно когда бьет какая-нибудь танковая дивизия СС (а то и две-три) — вещь смертельно опасная. Тут не помогут слабые фланговые заслоны нашего разведбата. Тут надо срочно заворачивать — срочно! — навстречу противнику, ударившему во фланг, весь наш мехкорпус, а то и еще два танковых в придачу. Иначе и 1-й Гв. танковой — хана, и на фронте — дыра...

Слева от Андряко капитан Назаров — офицер разведотдела по особым поручениям, у него на груди орденов больше, чем у всех. Он тоже вечно мотается на своем броневиличке по бригадам, передовым отрядам, нашим заслонам, разыскивает куда-то запропастившихся «соседей». Но уже ничего не предпринимает по собственной воле, следуя исключительно воле и приказам Начштаба. Вечно попадает в переплеты, из которых выкручивается целым и невредимым. Один раз — это было зимой то ли в Польше, то ли в Германии уже — он въехал лунной ночью в расположение крупной немецкой танковой части, остановившейся в селе, миновал это село, объезжая танки, бронетранспортеры, покуривающих фрицев, — никому из них в голову не пришло, что объезжает загоревшие дорогу боевые машины русский броневиличок и что торчит в его башенке в немецком маскхалате не какой-нибудь хауптман Зомбарт, а капитан Назаров. А в Прикарпатье капитан привел в расположение одной из наших танковых бригад целую роту (если не батальон) противника. Все на том же броневиличке он въехал во вражеский строй на повороте горной дороги — въехал, остановил машину и, поскольку выхода у него не было решительно никакого, он властным жестом приказал противнику сдаваться и следовать за ним... О, эта вечная игра разведчика со смертью! На счастье Назарова противником оказались не немцы, а венгры, не очень желавшие сражаться с нами даже на подступах к их собственной стране; они ему запросто сдались.

А вот во время боев в Померании в 1945-м, когда прямо на деревню, в которой разместился наш штаб, вышла никому не известная и даже не обозначенная на карте Глыбовского танковая колонна, отсутствие в штабе Назарова чуть не погубило Глыбовского. Начальнику штаба Воронченко пришлось, естественно, послать для уяснения состава колонны и ее намерений бывшего у него под рукой майора. Тот выехал навстречу неизвестности, восседая на башне Т-34 (из отряда сопровождения штаба), чтобы лучше видеть. А темнота была уже густая-прегустая, ровно ничегошеньки не было видно впереди. И ровно через пять минут «тридцатьчетверка» получила снаряд в брюхо — шедшая во гла-

ве немецкой колонны «пантера» была прямой наводкой. Экипаж Т-34, как было принято тогда говорить, героически погиб в бою, а восседавшего на его башне майора ласково так сбросило взрывной волной в придорожный кювет, по которому он, чуть оглушенный взрывом, на четвереньках и добрался до деревни, где уже не было нашего штаба. Штаб всегда оперативно — в этом отношении Воронченко не уступал Андреяко — убирался восвояси из горячих мест. На счастье Глыбовского — а везло ему тоже фантастически — в деревне задержался один наш мотоциклист, у бойца разведбата барахлил мотор. К моменту прибытия майора в деревню мотор снова заработал и боец вместе с майором пулей вылетели из деревни — под градом немецких пуль.

Конечно, капитану Назарову до майора Глыбовского было все-таки так же далеко, как мне до Сан Саныча. Но разведчиком он был смелым, а главное, инициативным; инициатива же в разведке, будь то малая операция или большая, фронтовая или тыловая, — вещь наипервейшая. Именно благодаря инициативе капитана Назарова наш разведотдел был обеспечен несколькими ящиками великолепнейшего французского шампанского под Львовым, и, хотя оно было по букету явно грабленное — поначалу немцами у французов, потом нами — у немцев, я в жизни не пил ничего подобного. А перед броском на Берлин, когда мы на несколько недель застряли в одной польской деревушке — формировка была на сей раз фундаментальнейшая, — капитан Назаров, канув куда-то в неизвестность и пропав на три дня, вернулся все же обратно и торжественно извлек из своего броневишка, к нашему общему изумлению и восхищению, три кипы великолепнейших черных суконных танковых немецких штанов с кожаной накладкой там, где у танкиста задница. Эти комбинированные штаны были тут же расхvatаны обносившимися за годы войны деревенскими жителями, обеспечив нашему разведотделу — на зависть всем прочим отделам штаба, и даже оперативному — польский самогон на все время формирования. Признаюсь: зверское было зелье. Нарушив меру, поначалу не привыкший к дьявольскому зелью наш разведотдел в полном составе оказывался пару раз у ближайшего забора — без этой опоры мы просто не могли устоять на ногах, освобождая организм от отравы. Но все же это было славное зелье, здорово помогавшее нам в эти дни разрядки «делить радость и горе».

Стоим за спиной офицеров-разведчиков мы с Сан Санычем, оба старшины и военпереводчики I-го разряда. А это в разведке уже совсем другой, низший класс, хотя все грани, как известно, в природе подвижны и порою в боях грани между нами стирались. Вообще-то чинами мы были обижены — по должности нам полагалось быть капитанами.

Но офицерского звания Сан Санычу не присваивали, несмотря на бесчисленные представления весьма ценившего его Воронченко, и хотя заработал он к тому же в боях пару орденов и вообще был гражданин вполне советский. Но Фишер все же был немец, и те, что в СМЕРШе или где еще там, ему не доверяли, ведь это был немец, воевавший против немцев. И не знали они, видимо, того, что знали мы в разведотделе: в боевых делах на Сан Саныча можно было положиться без всяких колебаний и даже больше, чем на самих себя... И в любой ситуации он пришел бы на помощь.

Ну а я выбился в переводчики, не имея на то никаких прав и никакого специального военно-переводческого образования. Да и к чему они, когда есть кое-какие знания, немного везения да еще способность к языкам? В истории этой сыграло свою роль мое юношеское пристрастие к немецкому поэту Генриху Гейне, моя должность полкового почтальона в стрелковом полку зимой 43/44-го — комбат минбатарей выполнял меня в штаб 973-го стрелкового полка из-за того, что я — единственный из всех командиров миномета — не умел обращаться с лошадьми (а мало ли что могло случиться с ездовым в боях?), и, наконец, мое знакомство с полковым писарем Ваней. Как-то ночью мы лежали с ним на нарах в штабной землянке, говорили «за жизнь», и он-то посоветовал мне подать рапорт по инстанциям по поводу пропадающего у меня переводческого таланта. И сыграла в этой истории особую роль женщина (они всегда играли в моей жизни особенную роль), старший лейтенант из разведотдела штаба нашей стрелковой армии. Ей-то и приказали проверить мои познания в немецком военном переводе, и я ей на чистом русском языке откровенно признался, что таковых не имею, но жажду приобрести. После этого признания, посмотрев как-то странно на мой потрепанный, далеко не бравый солдатский вид (я довольно-таки пообносился на передовой) девушка вышла в соседнюю комнату, к своему начальству, и сказала начальнику разведки армии, что я вполне подойду для службы в штабе полка. Затем из полковой разведки 975 СП 270 СД меня перетасил в корпусную разведку — причем танковых войск! — служивший в военно-врачебной комиссии 1-й Гв. танковой армии мой отец майор, военврач Плимак Григорий Ионович (в то время кому-то в голову пришла дикая идея — создавать в Советской армии фронтовые семьи!).

Впрочем, мне не след особенно приbedняться и, главное, выставлять в сомнительном виде хорошенькую девушку, старшего лейтенанта. Я все же имел, о чем я ей сказал, некое языковое образование — окончил все четыре курса заочных курсов «Ин-яз», что в Москве, из них два последних — в госпитале в Саратове. Правда, на курсах «Ин-яза» не учили

немецкой разговорной речи, военному переводу также, — курсы так и не «перестроились» во время войны в отличие от всей страны. Но в 975 СП я у одного из политработников достал, вернее сказать «умыкнул» и проштудировал пособие по военному переводу, разговорной речью овладевал в боевых операциях (на допросах пленных), хотя, признаюсь, владею разговорным немецким плоховато. Но, думаю, девушку — старшего лейтенанта — я не подвел, как не подвел моего отца — ему я обязан бесконечно многим: перевод в танковые части с огромным повышением в должности в общем-то спас мне, юнцу почти без всякого образования (9 классов средней школы), жизнь во время Великой Отечественной, хотя я вам прямо скажу, что разведотдел мехкорпуса далеко не курорт, умереть здесь можно было как раз в солнечную погоду под бомбовыми ударами Ю-87, да и в операциях на самом фронте. Но я вот выжил, здесь это было уже проще, чем в стрелковом полку...

Моя «работа» во фронтовой семье

Отойдя уже не на двадцать пять, когда начал я писать свой рассказ, а на шестьдесят лет от времен моей фронтовой молодости и готовя записки для печати, я, перечитав текст предыдущей главки, написанной давно, понял, что ничуть не подыграл тогдашней иронической моде в своем рассказе о фронтовой семье. Моя фраза о «боевых товарищах по работе», написанная на обороте нашей фронтовой фотографии, посланной покойной моей маме, была, конечно, диковатой, но по сути дела она была точна, совершенно точна! Фронтовая разведотдельская жизнь — это работа, работа и работа, работа при любых стрессах и сверхстрессах и в любых ситуациях. Сработает плохо — расплатишься кровью своей и своих товарищей. Хорошо — и себя спасешь, и товарищей. Хотя всякое, конечно, бывало. 60 лет спустя после некоторых пережитых мною в юности эпизодов такой работы я и сегодня могу совершенно точно воспроизвести их: слова и действия всех участников, до мельчайших деталей, врезались в мою память навсегда...

Январь 45-го, плацдарм на Висле. Первая гвардейская танковая вползла в приготовленную для нее пехотой узкую щель и рванула вперед, начав — вместе с соседями своими, естественно, — свой отчаянный бросок к Берлину, приблизивший конец войны. За два дня преодолеваем сотню-другую километров, просто объезжая стороной укрепления противника — для ускорения марша. Нет всегда умело сдерживавших наши танки «мессеров» — они захвачены на прифронтовых аэродромах — оказывается, как и наши И-15 в 41-м, стояли без горю-

чего в баках. Но то и дело лежим под РСами своих же «Илов» — они, черти, совершенно запутались там, «наверху», не разбирают, где на дорогах «свои», где «чужие», и не помогают их ориентировке никакие запускаемые нами для опознания красные ракеты... Андреяко уже не до поездок в бригады — все они слоями, как в торте, перемешаны с немецкими отступающими колоннами; все это движется nach Deutschland, в Германию.

В заданном направлении следует и штаб корпуса. Но уже без танков охраны — они оставлены позади, надо было отбиваться от наседающих на пятки немцев. Единственная защита небольшой колонны штаба нашего корпуса — наш разведотдельский бронетранспортер с американским крупнокалиберным пулеметом, которым мастерски владеет командир миномета Митя Бовтрюк. Но что может сделать этот крупнокалиберный Митин пулемет, если — не приведи Господь! — придется единоборствовать с длинной пушкой-хоботом какой-нибудь немецкой «пантеры»?

И вот очередное дорожное происшествие. За него, кстати, и я среди других заработал один из своих орденов. Наша штабная колонна стоит в сумерках перед весьма неопределенной деревней. На нашей карте она есть, но неизвестно — кто в ней... А тут еще на пятки нашей небольшой колонне садится какая-то еще одна неопределенная колонна. Она вытягивается из леса, который мы только что миновали, и застывает в метрах 60—70 от нашей колонны... Все слишком серьезно, чтобы помнить о формальной стороне уставных отношений.

Андреяко, выполняя приказ Воронченко, говорит мне: «Женя, сходи, узнай, кто там подъехал».

У Жени — два принципа. Первый: приказы выполняются неукоснительно. Сему обучен еще на подходе к передовой осенью 43-го. Тогда перед строем 973-го стрелкового полка расстреляли и сбросили в яму трех «самострелов», один кричал: «Это ошибка!». В остальном инициатива и все же второй мой принцип: «Береженого Бог бережет».

Впрочем, помогают сбересть жизнь (да и не только одному мне!) советы «боевых товарищей по работе». «Набрось плащ-палатку немецкую, идиот, не в гости идешь!» — бросает мне Глыбовский. Ах, какой же умница был майор! — эта плащ-палатка, в сущности, и спасла всем нам жизнь, совсем рядом со смертью наш штаб оказался в тот вечер...

В сгущающейся темноте направляюсь от одной колонны, нашей, к другой — той... Уже различаю: впереди какой-то грузовичок, штабной явно. Позади, за ним темные силуэты «пантер», и не одна тут «пантера» — целая танковая колонна нам на хвост села... Мне хочется бежать назад, но я иду вперед. Непонятно мне все же, почему это «пан-

теры» позади штабного грузовичка прячутся, «пантерам» — при прорывах — положено быть впереди. А кроме того, если я удалюсь — что я замечен, нет сомнений, — танки, те, что в колонне, вперед и выйдут. Все остальное непредсказуемо. Впрочем, нет, в данном случае предсказуемо совершенно определенно и точно — нам всем хана.

Подхожу вплотную к немецкой колонне, нагло открываю дверцу захеленного грузовичка. Передо мной в кабине немецкий офицер — с картой и фонариком на коленях для ориентировки — значит, впереди колонны этот грузовичок идет, ее за собой тянет. За офицером солдатшофер. Нечленораздельно — страх скулы сводит — произношу с долей иронии: «О! Guten Abend!» (а ведь ночь уже!). Захлопываю дверцу и спокойно — что стоит мне это спокойствие! — иду назад к нашей колонне, затем, уже в темноте, бегу к «виллису», где сидит Воронченко, докладываю внеуставным вполголоса: «Немцы. Чёрт знает сколько. Много танков!». Определенной мной неопределенности позади полковник предпочитает неопределенность впереди. Времени на рекогносцировку нет. Колонна штаба втягивается в деревню, оставляя за собой так и застывшую колонну танков противника... И какое же счастье!.. В деревне застряла «тридцатьчетверка»! Т-34 — это грозная боевая машина. Но она... без пушки — оторвали ее немцы в дневном бою!

«Триумвират»: Воронченко, Андреяко, Глыбовский, совещается у меня на глазах. Принят план Глыбовского. «Тридцатьчетверка» сползает с шоссе, тихим ходом идет на северную окраину деревушки и начинает там всю газовать, двигаться туда-сюда: Грохот! Грохот! Грохот! По грохоту с газующей 34-кой с ее двигателем дизельным никакая «пантера» и даже никакой «тигр» не сравнится! Слава конструкторам Т-34! Тем же тихим-тихим ходом изуродованная «тридцатьчетверка» переползает на южную окраину деревни и снова: Грохот! Грохот! Грохот! Грохот десятков танковых моторов — Боже, как она ревет!

Немцы «раскусили» нас и поняли наш «замысел»: у нас тоже есть танки, и мы готовим им «клещи». Дело в том, что Т-34 с калибром пушки 76 мм в лоб «пантеру» и «тигра» или «фердинанда» не берут. Берут их только в бок. В деревню оболваненные нами немцы тут же посылают за чем-то несколько болванок, затем и артналет следует — мы, естественно, в кювете лежим. Но колонна немцев — ни с места всю эту страшную для нас, штабистов, ночь; немцы так и не решаются двинуться вперед. Страх командует немцами. А утром наступает и наше избавление от смерти. На выручку нашему штабу спешит вызванный по радиации Воронченко полк «ИСов». «Иосифы Сталины» с калибром пушки 122 мм берут любую «пантеру» и даже «тигра» и спереди, и сзади. Оказавшиеся между «двух огней» немецкие танкисты сдаются в плен; в деревню гонят солид-

ную их колонну. А потом... О! Стоимость страшной игры со смертью, если даже ты ее победил. Совсем, видимо, обезумевший от дневного и ночного стрессов водитель Т-34 — того, что без пушки, — пытается гусеницами давить колонну военнопленных... Митя Бовтрюк заглядывает в комнату, где наш разведотдел разместился, и зовет меня посмотреть трагедию, что на площади деревни разыгрывается. Но я куда-то убегаю — не могу я это видеть, хотя тут и моя работа есть. И хотя я могу на фронте многое, очень многое...

Что я «могу» и что «не могу» на фронте

После того как 1-я Гв. танковая армия помогла захватить одерские плацдармы, ее направляют в Померанию подстраховать северный фланг фронта маршала Жукова. Мы движемся к Балтике. В какой-то брошенной вилле перекусываем на ходу. В вилле есть, конечно же, подвальчик с консервированными фруктами. Больше всех любит поесть Глыбовский, он же и распоряжается: «Женя, пару баночек!». Спускаюсь вниз, открываю дверь подвала, застываю, смотрю... Напротив двери висят хозяева виллы — старик со своею старухой. Они повесились, но, боже, как повесились! Водопроводная труба от пола всего на метр сорок, повеситься на ней можно только поджав ноги. Именно так хозяева дома и сделали...

В обмороки на фронте я не падал, не до того было. И пусть простит мне читатель, что рисую я теперь просто кошунственную, наверное, сцену, но зимой на Витебщине нам, минометчикам, довелось как-то отобедать, сидя на трупах замерзших немцев, ничего другого на снежном поле не было, а этих, замерзших, наши же мины и подкосили. Словно гребешком каким — в отличие от дальнобойного снаряда, посылающего осколки больше вдаль, — разорвавшаяся мина всю землю, начиная с воронки, словно прочесывает, все живое уничтожая...

Но в Померанию вернусь. Я прекращаю осмотр места происшествия, выбираю из банок на полке что повкуснее. За столом же без деталей сообщаю: в подвале хозяева висят, повесились старики. Глыбовский тут же реагирует: «Не худший для них вариант»...

Здесь, в этой вилле, обедать я могу.. А через пару часов в каком-то померанском городке я снова не могу:

Завязка истории: мы в комнате брошенного хозяевами дома. В расположившийся здесь разведотдел приводят какого-то немецкого санитаря. Он метался по территории нашего штаба, его, естественно, переправили к нам. Через пару минут иду с ним в покинутый персоналом,

по его словам, немецкий госпиталь. Подходим к дверям громадного пятиэтажного дома, фиксирую четко — санитар отстает. Засада? А у меня один ГТ!.. Все же отворяю решительно дверь. Боже! Совершенно невыносимый для живого человека запах гниющего человеческого мяса... Нет, мне это снова просто не под силу, а тут еще какой-то человеческий обрубок в бинтах к двери ползет... Но что я могу? Что могут сделать, выслушав меня, Андреяко и даже сверхнаходчивый Глыбовский? Нам через 15 минут снова бросок, километров на 50, к Балтийскому морю. А пехота в городок дня через два подтянется, комендант появится через неделю. Сгнут все там, в госпитале... И пусть они верят, что есть милосердный Бог на небе — ведь у каждого на бляхе ремня написано «Gott mit uns» («Бог с нами»)!.. Вот и верьте в Бога...

Кстати, в разведотделе все ответственные переводы брал на себя Сан Саныч, но порой он, поступая как-то безответственно, перекладывал тяжелую ношу на мои молодые плечи... Так он сделал и в тот же день в Померании, когда в нашу комнату, где в полном составе расположился разведотдел, ввели какую-то бледную немецкую женщину. Многоопытный Сан Саныч не собирался предлагать ей стул и не стал ее допрашивать, разговаривать с нею пришлось мне. Но и я уже был по-своему опытен. С неделю назад мне пришлось оставить родителям изнасилованной и простреленной (около самого сердца девочки лет пятнадцати-шестнадцати навывлет пуля прошла) краткую записку:

«Любому командиру или бойцу Советской армии!

Помогите этим немцам доставить в наш медсанбат изнасилованную и раненую девочку.

Военпереводчик (*подпись неразборчива*)».

Итак, я беру инициативу на себя и вывожу бледную женщину в соседнюю комнату, спрашиваю: «Was ist los?» (Что случилось?). Мне, девятнадцатилетнему юнцу, не знавшему ни одной женщины, сорокалетняя немка говорит: «Ein Mann, zwei Männer... Aber so viel! Das ist unmöglich!» (Один мужчина, двое мужчин... Но столько! Это невозможно!). Я смотрю изнасилованной немке в глаза, соображаю, говорю: «Verstecken Sie sich irgendwo für diese zwei-drei Tagen. Dann kommt in die Stadt der Kommandant» (Спрячьтесь где-нибудь на два-три дня. Затем прибудет в город комендант).

Рассказывая этот эпизод, я вот что должен уточнить. Не надо думать, что Советская армия сплошь состояла из насильников, не было этого. Истории с бедной девочкой и бледной немкой, которой я дал практический совет (что стоит он в непредсказуемых ситуациях вой-

ны!), были в моей практике, не сказал бы, уникальными, но не так уж частыми. Но в армии были подонки, бесчинства творились и пьяными солдатами. У нас на подходе к Берлину один из лучших комбригов (кстати, Герой Советского Союза) погиб — попробовал отправить вперед выпивавших на обочине шоссе танкистов. И был застрелен одним из них из пистолета — не разобрался парень, кто перед ним в комбизоне стоит... Ну а я — по долгу службы — должен был постоянно выслушивать потерпевшую немецкую сторону, обиженное население. Конечно, несколько женщин на всю Померанскую операцию не так уж и много, но все ли в штаб с жалобами обращались? Да и чем я приходящим в штаб мог помочь? Был, правда, уже в Берлине и случай совершенно анекдотический, офицеры разведотдела от смеху катались. В комнату вошла старушка лет под 85 и протест нам заявила. Оказывается, ночью (спала она на первом этаже) какой-то пьяный наш солдат к ней в комнату рвался, раму вышиб. Но скрылся тут же, услышав пронзительный визг хозяйки... Мы об этом происшествии никому не докладывали, торопились, как всегда, куда-то...

Но вот что серьезное, и очень, я бы хотел сказать в адрес нашего Генерального штаба, его отделов снабжения. В то время как германское командование ОКВ (Высшее командование вермахта) предоставляло солдатам регулярные отпуска, наших солдат домой, за редкими исключениями, не отпускали (как же — отпустишь их, потом собирай!). Для того чтобы заслужить отпуск, надо было быть здорово покалеченным, стать временно непригодным для строя. И еще одну историю расскажу.

Мне как-то довелось переводить для нашего командования заинтересовавший его приказ по германской армии. В нем говорилось о срочном снабжении солидными партиями презервативов группы германских войск в Италии — там резко подскочил процент венерических заболеваний среди солдат. Мы же, естественно, и допустить не смели, что такое понадобится нам на территории Германии. Той самой Германии, которая, скажу я вам, была в то время уже чем-то вроде проходного двора всю развовавшейся Европы...

Женский вопрос в нашей семье

Не скрою — самым большим вопросом в нашей дружной семье, состоявшей только из мужчин, был знаменитый в России со времен Чернышевского женский вопрос. Решался он, если суммировать кратко, соответственно воинскому званию, должности и боевой смекалке.

Начальник разведотдела жил с хирургом нашего медсанбата Каетей — извиняюсь, Екатериной Васильевной (фамилии ее я не знаю)... Знакомство их состоялось, когда во время одной из бомбежек подполковнику осколок бомбы вырвал солидный кусок мяса из его ягодицы и капитану медслужбы пришлось возвращать его в строй. Потом, во время формировок, она, маленькая, хрупкая, привлекательная — так уж мне казалось, — часто приезжала к нам в разведотдел; не к нам, конечно, а к Андреяко. А во время боевых операций — хотя это не предусматривалось вовсе в приказах командования — наш разведотдельский бронетранспортер совершал, по приказу Андреяко, сложный обходной маневр и появлялся в медсанбате. Но это случалось не часто, война есть война, а не развлечение.

Капитан Назаров во время боев никуда не выезжал, но во время формировок частенько отправлялся на мотоцикле в банно-прачечный отряд. Как и с кем он там познакомился — я, право, не знаю, он нам ничего о своих поездках не рассказывал.

Майор Глыбовский и Сан Саныч жили в основном воспоминаниями и почему-то любили делиться ими именно со мной — из-за моей неопытности в делах с женщинами, по-видимому.

У майора было две семьи. Одна, в Иркутске, была еще довоенная. Помимо этой, первой, семьи, майор завел еще вторую, где-то под Вязьмой, когда командовал батальоном и стоял на постое у местной учительницы. Сельская учительница из-под Вязьмы родила ему мальчика, естественно, когда майор уже отбыл из села. После войны майору предстояло решать, пожалуй, самую сложную в его жизни оперативно-тактическую, а может быть, и стратегическую задачу — куда же ему ехать, дети были в обеих семьях. Но, впрочем, из Отечественной, как всем нам в разведотделе, майору еще надо было вырваться живым; люди умирают даже на курортах, а на нашем «курорте» легко было умереть именно в солнечную, ясную, летнюю ласковую погоду — проклятые Ю-87, немецкие пикировщики, «лечили» нас довольно часто, избирая как цель наш штаб. Я уже не говорю о наших походных «процедурах»: оказаться под атакующими «мессерами» — тоже не удовольствие...

У Сан Саныча была общая для всех нас задача — выжить, но не было проблемы — куда ехать. У него была всего одна семья, вернее — жена, которая к 45-му вернулась из эвакуации в Ленинград (он был там крупным кораблестроителем). И к тому же жену эту Сан Саныч просто обожал. Правда, это была уже вторая его жена, с первой он развелся. А вторая очень уж подходила — судя по его бесконечным рассказам о ней — к фишеровской натуре немца-аккуратиста, во всем любящего безупречный порядок. Порядок этот, очевидно, все время нарушала

первая его жена — особа, по-видимому, очень беспорядочная. К тому же вторая жена была моложе Сан Саныча лет на двадцать пять, что тоже было немаловажно.

Итак, майор Глыбовский и старшина Фишер жили в основном воспоминаниями, а у меня практически не было таких. Лет до 17, до призыва в армию, я был ужасно робок с девушками, она, эта доверенная робость, сидела во мне и в армии, сидела, черт ее побери вместе с Фрейдом, и после армии. Но зато вот и до фронтовой и после фронтовой жизни я частенько писал стихи. На фронте же мне оставалось (больше в «привилегированных» танковых частях, чем в пехоте) слушать долгие воспоминания и поучения своих старших многоопытных и успевших пожить на «гражданке» «боевых товарищей по работе», кое-что мотать себе на ус, да поглядывать украдкой на красивую спасительницу нашего главы семьи, фамилия которой, как вы уже догадались, была совсем не Андряко.

Вот так обстояло дело с женским вопросом в нашей семье вплоть до вступления нашей 1-й Гв. танковой армии на территорию Германии. Здесь роли стали существенно меняться. Стал перевешивать не чин, но язык врагов наших, но и не только врагов. Появились на сцене нашей жизни совсем иные персонажи, и новые обстоятельства обернулись совершенно неожиданным зигзагом судьбы для моего друга и наставника Сан Саныча, так безумно обожавшего вторую свою ленинградскую жену.

Это случилось в малоизвестном, а Сан Санычу (и мне — о чем чуть позже) запомнившемся немецком городке Кирххайне, где мы обосновались ненадолго после того, как наш мехкорпус отвели на юг после боев в Берлине. Находившийся на полпути между Берлином и Лейпцигом городок мог похвастать лишь одной-единственной вымощенной каменной плиткой широкой главной улицей, где стояли слепленные друг с другом впритык дома состоятельных бюргеров, лавочки, аптека. А за главной улицей — тенистые, молчаливые прямые улочки, домики, спрятанные в садах, проулки, как-то незаметно переходящие в перелески и поля, еще ярко-зеленые, весело блестящие под ясным неустанным солнцем этих погожих весенне-летних дней мая—июня 1945 года.

Мы расположились на Моргенштрассе 12, главной улице Кирххайна, и Сан Саныч, который вдруг что-то прихворнул, решил зайти в аптеку, немецкую, что была неподалеку от нас. И нашел там не только лекарство от головной боли, но и вдовушку-аптекаершу, которая пленила его на несколько недель, вплоть до того дня, когда нам неожиданно приказали покинуть Кирххайн и перебраться на юг в Тюрингию, тоже в небольшой немецкий городок Геру.

Я ни капельки не осуждал Сан Саныча, когда он вечером уходил в аптеку за очередной порцией сердечного бальзама. И наверно, был прав — ведь вместе с ним мне пришлось бы осуждать половину человеческого рода (да и самого себя впридачу). Правда, кое-что в действиях Сан Саныча стало мне не по душе. Ему вряд ли стоило, на мой взгляд, продолжать писать полные нежности и тоски письма второй своей жене в Ленинград. Одно из них он, немец-аккуратист, оставил на столе среди военных бумаг, и я наткнулся на него случайно, разыскивая вдруг понадобившийся документ для майора Глыбовского. Каюсь, не удержался я и прочел несколько строчек, от которых мне как-то стало не по себе. Но ведь может статься, что письмо это Сан Саныч написал еще до своего знакомства с аптекаршей и не отправил его именно потому, что хаживал к ней вечерами? Хотя не знаю, меняет ли это дело...

Повторяю, я никак его не осуждал, осуждать мне его не подобало еще и потому, что и я возвращался в нашу с ним комнату зачастую под самое утро и был рад, что мне не приходилось нарушать его ранний сон. Ибо в те дни в Германии, в маленьком немецком городке Кирххайне, и я пережил свою первую любовь. Но о ней — чуть позже, я еще не кончил свой рассказ о разных фронтовых переживаниях...

Иван Панкин и Митя Бовтрюк

Хочу рассказать вот еще о чем. За годы моей службы в разведотдельской семье ей здорово везло. Все катастрофические события произошли в ней до моего прибытия в распоряжение подполковника Андреяко, где-то в конце марта — начале апреля 1944-го. Кстати, я совсем не знаю имени-отчества моих соратников — офицеров разведотдела, для меня они только «товарищ подполковник», «товарищ майор», «товарищ капитан»; Сан Саныча одного мы все в разведотдельской семье по имени-отчеству именовали, гвардии старшиной его как-то и неудобно было окликать, больно солидный и пожилой он был мужчина... Но, впрочем, не о том повел я разговор, я о катастрофических в разведотдельской семье событиях хотел рассказать.

На Украине еще до марта—апреля 1944-го немецкая «пантера» с ее длинной пушкой-хоботом подбила нашу разведотдельскую штабную машину; тогда 1-ю Гв. танковую в бок пырнула какая-то танковая германская дивизия СС, и она (не дивизия, а машина наша) горела со всеми разведотдельскими документами под боком у немцев, да и мой предшественник на посту военпереводчика 1-го разряда тогда от взрыва снаряда погиб. Но горящую машину — мотор остался цел — угнали

от немецких танков в близлежащую деревню сидевшие в кабине и оставшиеся целехонькими шофер и Сан Саныч, он-то и спас тогда ценные штабные документы — свой орден Красной Звезды заслужил. Как я завидовал ему поначалу, пока свои два офицерских ордена в боях не заработал! На Украине же, где все это случилось, попал и подполковник Андряко в медсанбат — к своей Кате, поставила она его снова на ноги, но одна из них была теперь изуродована. Я явно повторяюсь, говорил об этом уже, но вот что хочу теперь добавить: вернулся Андряко в разведотдел, обретя прескверную привычку дурного обращения с пленными германскими летчиками, слава Богу, они не так уж часто к нам попадали. Упомянув имя Господа Бога, о деталях умолчу, ограничившись таким вот определением: пленный — это попавший в ваши руки человек, только что хотевший убить вас; главное для пленного — миновать передовую с ее озверевшими в горячке боя и почти никем и ничем не управляемыми — кроме чувств страха и мести — людьми. Мы в разведотделе, как правило, на самой передовой не были, но языческое чувство мести в Андряко при виде пленного летчика явно разыгрывалось...

Но все катастрофические события в разведотделе, повторяю, произошли до меня на Украине, до моего прибытия в распоряжение Андряко, а при мне не только капитану Назарову, но и всей нашей фронтовой семье дьявольски везло (хотя и мы этому порой сами содействовали, сколько могли). Но особенно везло на фронте Андряко и мне, ездившим к передовой. Нашему везению очень поспособствовали два человека, точнее, два бойца, которых я очень хотел бы видеть на нашей «семейной» карточке, но которые не попали в объектив заезжего фронтового фотографа из-за своего солдатского звания. Я говорю про Ивана Панкина, бывшего колхозного тракториста, ставшего в 44-м шофером разведотдельского бронетранспортера. У него, правда, всегда потели руки и судорожно напрягалась спина, когда мы подъезжали к молчаливым деревушкам или опушкам лесов, но я не помню случая, чтобы у него в операциях забарахлил мотор, а разворачиваться он умел поразительно быстро, когда мы заезжали туда, куда не след было заезжать танковой разведке. А учтите, что бронетранспортер — машина тяжелая и не очень-то поворотливая.

А мой друг, тоже солдат, Митя Бовтрюк, стал командовать нашей боевой машиной после одного из боев на Сандомирском плацдарме, после того как Андряко услышал про него, я бы сказал, легендарную историю. Митя был пулеметчиком подчиненного нам разведбата и в одном из боев, когда очередь немецкого пулеметчика что-то повредила в его вооружении, не повредив его самого, Митя просто-напросто

пополз в обход к своему сопернику, скрываясь в траве, подобрался к немцу сзади и то ли его придушил, то ли разорвал. Какая из этих версий верна — не знаю, но знаю одно — сила в Митиных руках была страшная, и от демонстрации некоторых приемов, которыми он владел, а я совершенно безуспешно пытался заучивать, у меня мгновенно темнело в глазах, хотя Митя всего-навсего шутил со мной — он любил со мной, «очкариком», иногда так вот пошутить. С немцами Митя не шутил. На Украине под немецкой оккупацией погибла вся его семья, отец, мать и сестры (не было только среди погибших его самого, уже призванного в армию).

Не знаю, так или не так это было на самом деле — чужая душа потемки, как говорят, но из всех ездивших на нашей боевой машине один Митя не знал, что такое чувство страха. Во всяком случае, когда на расположение штаба заходили Ю-87, я говорю про проклятых пикировщиков, или когда с чердака какого-нибудь дома, мимо которого мы проезжали, начинал неожиданно бить немецкий пулемет, Митю все эти летающие или приземленные объекты интересовали не как объекты, желающие его, Митю, убить, а только в одном отношении — как мишень, куда должен был Митя непременно попасть из своего американского крупнокалиберного. Кстати, мы ездили в свои страшноватые фронтовые экскурсии на американском бронетранспортере, и спасибо тем парням на заводах Форда или Студебеккера, которые сработали для нас добрую боевую машину, и тем спасибо, кто ее через океан к нам доставил на фронт, и попала она сначала в разведбат, а затем в разведотдел нашего мехкорпуса. И спасибо еще раз Мите Бовтрюку за то, что он никогда не склонял голову перед свистящей пулей, и за то, что он умел попадать в цель. Правда, уходили от Митиных очередей невредимыми распроклятые Ю-87, но я, наблюдая за Митиной стрельбой по ним из щели, вырытой у дома разведотдела, вот что заметил: Митины начиненные трассирующими пулями очереди и мешали точному бомбометанию пикировщиков...

Спасибо, спасибо еще раз за воинскую доблесть и мужество Мите Бовтрюку, за что и держал его Андряко при нашей разведотдельской семье вместе с Иваном Панкиным.

Кстати, раз я уж заговорил об Иване и Мите, расскажу одну смешную историю о неумной Митиной инициативе. Где-то в Прикарпатье среди трофеев нам попала целехоньякая с комплектами снарядов (по 5 в обойме) немецкая зенитная пушка, и Митя решил срочно усилить вооружение нашей боевой машины. Полдня — у нас была какая-то передышка — ребята прилаживали орудие к бронетранспортеру, да и я присоединился к ним из любопытства. На пустынном берегу какой-то речки

Митя нашел мишень — заброшенное строение; прицелился и дал залп из укрепленного на нашей машине орудия. Не учел он одного — у немецкой зенитки была во время стрельбы зверская отдача, она дико металась туда и обратно. Митя сразу же получил страшный удар по скуле, которую он неосторожно к немецкой пушке приблизил... Конечно, пушка была тут же демонтирована, брошена с презрением в речку, а Митя недели три ходил с громаднейшим синяком на скуле.

Вообще, скажу я вам, шуточки с оружием на фронте плохи. Я как-то вечером вышел из дома, где расположился разведотдел, чтобы найти в зачехленном от дождя бронетранспортере какие-то вещи для Андреяко. Пока я рылся в ящиках, лежавших в задних отсеках, в моих руках оказалась ракетница — из тех, которыми мы так любовно общались с ИЛами... Черт меня дернул машинально нажать курок — в закрытой машине произошел всполох огня, дышать от запаха пороха стало невозможно, и я на какое-то время потерял сознание. Потом уже кое-как я выполз из бронетранспортера и приходил в себя на свежем воздухе, лежа на траве. С большим запозданием я вернулся в хату, где обо мне уже начали беспокоиться друзья, даже сам Андреяко... «Я что-то ничего не нашел», — сказал я ему. Про свою расхлябанность рассказывать было совсем ни к чему, хорошо еще, что в боевой машине ничего не взорвалось — ведь там, в канистрах, хранился бензин...

Неучтенная боевая награда

Про то, как я заслужил орден Отечественной войны II степени, я рассказывал. О том, что у меня есть и не учтенная в документах боевая награда — солдатский нагрудный знак «Отличный разведчик», я вам сейчас поведаю. Я заслужил его на офицерской должности и помимо всякого начальства, что вообще-то против всяких правил... Но давайте по порядку вести рассказ. Как вообще попадают бойцы в разведбаты, разведроты, разведвзводы?

Перед Демидовской операцией, когда комполка 973-го построил на поляне у леса прибывший резерв, он производил любопытный его расклад. Про то, как рослых отделили от нерослых и что за этим последовало, я уже говорил. Скажу теперь об отделении отчаянных от осторожных или трусливых... После приказа своего «Смирррна...» комполка громко сказал: «А ну, кто хочет весело повоевать — три шага вперед!», Человек двадцать вышли из нескольких сот построенных. Они-то и составили разведвзвод или разведроту — не знаю точно, что за часть комплектовал комполка 973-го...

Как весело, но не всегда, конечно, воевал — играл со смертью наш разведотдел, я вам сообщил. Поведаю теперь о неучтенной, но очень дорогой для меня награде.

Ею наградил меня при расставании нашем Митя Бовтрюк — и это был совсем не простой значок. Этот значок «Отличный разведчик» был снят им с тела убитого товарища, и в довольно необычной обстановке — на территории противника. Кровь действительно запеклась в краске, в центральном кругу, на котором лежали золотые серп и молот, все же знаки гражданской жизни, и вокруг шел белый обвод с маленькой звездочкой и надписью золотом «Отличный разведчик». Внизу, на красном щите, не очень приметные автомат и... сабля. Плюс к тому бинокль и колосья, из-за щита выглядывающие. В общем, неплохая имитация почетного знака НКВД... где щит и меч, который я не очень-то уважаю. Но здесь в центре все же серп и молот...

Имел ли вообще Митя Бовтрюк право передавать мне сей значок, еще и прибавив: «Там, в штабе, такой тебе не дадут»? Думаю, имел, в силу подвигов своих. Иногда за ошибки командования разведка крепко расплачивается. Так и случилось с лучшим разведчиком нашей армии старшим лейтенантом Подгорбунским, разведчиком отчаянным, который мог с лихой тройкой Т-34 с их грохотом и ревом ворваться на железнодорожную станцию и разгромить эшелон-другой, из стоящих на погрузке немецких танков. А вот на Сандомирском плацдарме его послали по приказу маршала Конева, которому передали противоречивые данные, узнать: кто, мы или немцы, занимают некий, якобы взятый нами, важный участок. Он был послан туда во главе разведгруппы с одним танком, оружием и тремя бронетранспортерами и оказался в самой гуще идущего здесь боя, вернее, танкового сражения. «Тигры» вдребезги разбили маленькую колонну разведчиков; смертью храбрых пал и Подгорбунский. А ночью на немецкую сторону пополз в сплошной тьме Митя Бовтрюк, нашел нашу разбитую колонну и перетащил на нашу сторону труп Подгорбунского — для похорон со всеми почестями. Да еще значок «Отличный разведчик» с какого-то убитого бойца снял, потом долго в кармане таскал, потом взял и мне подарил — я его, Митю, в ту памятную ночь провожал. Не отказался я от Митиной награды, не меньше орден ее ценю, ибо сам Митя меня оценил.

Хотя, прямо признаюсь, по натуре я весьма осторожен, а упоение в бою, которое Лев Толстой с вдохновением таким описывает в романе «Война и мир», всего два раза за два года войны испытал.

Первый раз оно пришло ко мне на площади занятого нами наконец-то городка Демидов, где и была поставлена — безо всякого укрытия —

наша батарея 120 мм. Под звуки разрывов немецких снарядов и свист осколков мы вели бешеный огонь по отходящим немцам, столь яростный, что я забыл просто про Смерть, одним огнем жил да поправками сбивающейся на сторону прицельной линии — через каждые два-три залпа мат ушедшего на НП комбата по телефону раздавался, и мы, через приказы комвзводов, прицелы подправляли...

Второй раз это было, когда мы с передовым отрядом разведбата к самой окраине Берлина вышли и наши танкисты, почувствовав близость победы, в восторге давали залп за залпом из своих орудий по направлению к центру столицы Третьего Рейха — дальше нам двигаться каналы мешали. Запомнились мне тогда в Берлине сделанные повсюду громадными буквами надписи: «Berlin bleibt Deutsch» («Берлин останется германским»).

Что я могу ныне сказать? Осуществился этот лозунг десятилетия спустя, но все же не без нашей помощи, и, слава Богу, теперь мы с немцами более всего вроде дружим. А я перехожу от вопроса о наградах и упоении в бою к своей философии войны, есть даже и такая у меня, к своей трактовке в ней необходимости. О роли случая к концу своего рассказа поговорю, — это на войне, да и вообще в жизни, наиважнейшая тема.

О том, как Митя убил долговязого друга Фрица

Его привели к нам в разведотдел вместе с еще одним солдатом в какой-то прикарпатской деревушке, когда мы надолго застряли под Станиславом, длинного шофера-ефрейтора бронетанковой дивизии СС, естественно нациста. Он этого не отрицал, да и отрицать было тут нечего, у танковых дивизий СС — своя форма. Был при Фрице — Фриц его настоящее имя — и карманный справочник члена НСДАП с какими-то таблицами по определению состава крови и острых и тупых углов подбородка. Приключения Фрица начались при первом же допросе, который вел сам Андреяко...

Ефрейтор Фриц показал: принадлежу к танковой дивизии, ефрейтор; дивизия СС на станции Станислава, на путях, *погружается*, скоро отбудет... Куда? — не знаю...

Простой солдат показал обратное: в Станислав прибыла танковая дивизия СС, она на путях станции; *разгружается*...

Все это было слишком серьезно. Мы, как я уже говорил, надолго застряли под Станиславом, «тридцатьчетверок» у нас осталось в корпусе из двух с половиной сотен всего десятка два-три, генерал Дремов чего-

то прихворнул, и командовал корпусом наш Начштаба Воронченко. До него дошли сведения авиаразведки о скоплении массы танков на станции, по его приказу разведчики доставили в штаб корпуса двух «языков», но они оба утверждали на допросе прямо противоположное!

Подполковник Андряко из Штаба нашего 8-го Гв. Мехкорпуса вел своего рода негласное соревнование с разведчиком полковником Соколовым из разведотдела 1-й Гв. танковой — тот значился лучшим разведчиком на всем фронте! На том памятном допросе реакция Андряко на ответы пленных была мгновенной; он выложил свой маузер на стол, и Сан Саныч перевел грозным голосом грозные его слова: «Даю одну минуту! Не будет у меня ясности, оба будете на том свете!».

Ефрейтор СС держался за свои показания твердо. Но вот солдат сплеховал — его прохватил понос! «Weiss nicht!» — вскричал он, придерживая полные штаны рукой. Было очень смешно, но никто не смеялся. Минут через десять солдата наш бронетранспортер уже вез в штаб армии (кальсоны он оставил хозяйке дома в чулане, где сидели пленные). А вот ефрейтора СС подполковник попридержал при нашем разведотделе для собственной надобности... Кстати, его показания он счел верными и тут же передал Воронченко.

Через десяток дней Андряко пересказал нам, когда мы сидели за столом и обедали, только что состоявшийся свой разговор с разгневанным Воронченко. Передаю, что запомнил, вроде все точно:

Воронченко: «Товарищ подполковник, попрошу Вас разъяснить, почему Ваши разведданные постоянно расходятся со сводками штаба армии? Они вот сообщают, что по крайней мере одна танковая дивизия СС прибыла в Станислав. Вы же мне доложили, что она отбывает из Станислава».

Андряко: «Но ведь Вы же взяли Станислав, товарищ полковник. Мы теперь «Гвардейский Прикарпатский корпус» — сегодня Москва передала, мы приказ Главнокомандующего по рации приняли!»

Воронченко: «Ну и еще что?»

Андряко: «Да ничего. Просто Соболев не умеет допрашивать пленных, интеллигент он!»

Вот последних слов подполковнику произносить не стоило. Да, командование штабов армии состояло из интеллигентов, полуинтеллигентов и совсем неинтеллигентов. А вот наш Воронченко был интеллигентом до мозга костей, хотя и прекрасным кадровым офицером...

«Ну и я интеллигент, — заканчивает разговор с Андряко Воронченко. — А вот Вы кто?».

В разведотделе гомерический хохот. Хохот не по поводу этого диалога, а скорее по поводу предыдущего, вернее по поводу обоих диало-

гов. Теперь вот подполковник взял реванш — а тогда он явно оплошал. Хотя, честно говоря, смеяться всем нам было грешно. Ведь длинного Фрица уже не было на этом свете...

Дело в том, что после того краткого, но примечательного допроса Андряко не отправил Фрица в штаб армии, как ему следовало сделать, а попридержал его при нашем разведотделе. У Андряко появился как раз в это время прекрасный немецкий трофейный автомобиль Volkswagen, предназначался он, весьма простой, но скоростной работа, по первоначальному замыслу для нужд немецкого народа, но оказался весьма пригодным для нужд затеянной Гитлером войны. И вот к трофейному автомобилю подполковник весьма удачно подобрал трофейного же шофера, и все стало на свои места. Уже не надо было снимать с боевой машины бронетранспортера Ивана Панкина, когда Андряко во время нашего долгого сидения под Станиславом уезжал по вечерам к Кате в медсанбат; снимать-то он Ивана с бронетранспортера для своих поездок снимал, но, как я уже выше сказал, бронетранспортер — боевая машина, без шофера она перестает быть таковой. Правда, Андряко и сам прекрасно водил автомобили любой марки и лихо уезжал иногда в близлежащий лесок, когда к деревушке, где расположился штаб, направлялась очередная стая Ю-87. Но ему вот ужасно захотелось теперь поездить в медсанбат на персональной машине с личным шофером — и вообще мало ли какие причуды могут появиться у человека в цветущем сорокалетнем возрасте, хотя и с чуточку изуродованной ногой? Почему людям в форме нельзя немного и почудить... о последствиях не особенно размышляя?

И вроде бы все уладилось — к удовольствию не одного Андряко только. На трофейной машине появился трофейный же шофер — с его черного мундира Митя Бовтрюк, естественно, содрал погоны и нашивки СС. По вечерам долговязый Фриц отвозил подполковника в медсанбат и с машиной в сопровождении Мити возвращался обратно в разведотдел. Утром совершалась Фрицем вместе с Митей еще одна поездка в медсанбат, за Андряко. Днем использовал Фрица я — для совершенствования немецкой разговорной речи, пытался овладеть баварским наречием. Берлинское худо-бедно я понимал, от австрийского был в полном восторге — все было понятно. А вот с баварским было у меня schwach — совсем никуда. А Фриц оказался не только нацистом, а и баварцем — ну как этим не воспользоваться? Митя и Иван, спавшие вместе с Фрицем в одном сарае, были тоже не прочь превратить его в своего домашнего работника. Ребятам Фриц драил боевую машину, стирал белье и таскал нам всем нехитрый солдатский и офицерский обед с кухни, который мы вполне по-братски делили с Фрицем.

Именно в таком вот виде, в мундире германской бронетанковой дивизии (хотя и без нашивок), с двумя котелками в обеих руках Фриц и предстал пред полковником Воронченко, который, видимо, вышел поразмышлять, — на ходу человеку порой приходят ценные мысли, — как его корпусу все же овладеть Станиславом, повторюсь: его обессиленному порядку корпусу.. Кстати, очень я ценю это слово — *овладеть*, оно словно создано для описания самых разнообразных ратных подвигов... Но теперь я не об этом, а о том, как всей нашей идиллии с Фрицем пришел закономерный трагический конец...

Через пару минут в хате, где расположился разведотдел, зуммерил телефон, и Андреяко, на ходу заправляя гимнастерку под португепю, бежал к дому начштаба. Что там Воронченко говорил Андреяко, тот нам никогда не пересказывал; адресованный тебе мат вряд ли стоило вообще передавать. Но еще минут через десять Митя Бовтрюк с автоматом уже вел длинного Фрица по какой-то тропинке в близлежащий лесок, но прогуливался недолго, вернулся один и, мрачный, уединился в сарае.

Перед прогулкой Фриц, естественно, понял, что стряслось нечто непоправимое, но я его успокоил, сказав полуправду, — что он попался на глаза начальству и что его приказано немедля отправить в тыл... Правду я не мог сказать: ситуация сложилась не из простых. На тылы 1-й Гв. танковой выходила из котла немецкая группировка, нас она не трогала и мы ее тоже, так что путь в разведотдел штаба армии был пока открыт... Но пришлось бы разяснять разведотделу штаба армии — почему мы на столько дней задержали доставку важнейшего пленного, тут и СМЕРШ мог вмешаться в дело... И решено было Воронченко вместе с Андреяко Фрица по инстанциям не направлять, а отправить сразу в наивысшую...

Я вот с войны убежденным атеистом стал, хотя ныне вроде бы к скептицизму больше склоняюсь в вопросе о Боге. Но скажу вам, страшные есть в военном лексиконе, в военной философии, что ли, слова: НЕОБХОДИМОСТЬ, ПРОМАШКА, СЛУЧАЙ...

А тут в смысле НЕОБХОДИМОСТИ абсолютно прав был полковник Воронченко, а не подполковник Андреяко. СЛУЧАЙ отправить Фрица в разведотдел штаба армии, как ему и положено было, он упустил десять дней тому назад, и теперь за его ПРОМАШКУ Фриц жизнью расплатился... Наш подполковник явно хватил через край, и все из-за любви к своей Кате. Фриц знал далеко не все, но знал совершенно точно очень многое — месторасположение нашего штаба. И выйдя по нужде ночью из сарая, он, нацист, через пару часов мог оказаться там, где гремело и полыхало, где была передовая, к немцам уйти, о нашем штабе рассказать...

В детали последней прогулки Мити с Фрицем я не буду углубляться, хотя их от Мити знаю, но одно вам скажу, читатель. Я сам нередко допрашивал пленных на ходу, наша танковая армия уходила в прорывы, допрашивать пленных было необходимо, но вот отправлять в боевой обстановке их было совершенно некуда, возить их, нередко раненых, было тоже ни к чему.. И в критических ситуациях Митя спокойно делал свое дело — так же спокойно, как отрубал в деревне голову курице или прирезывал поросеночка... Нет, совершенно нектати побывали немцы по замыслу фюрера в далеком украинском селе, сколько людей от одного Митинога автомата погибло за бредовые замыслы маньяка! Но тех, других, я как-то не запомнил, а вот Фриц не выходит из моей памяти, да и сердца моего — уж больно он помог мне с баварским. Помню я прекрасно и совершенно расстроенное лицо Мити, когда он возвратился из своей последней с Фрицем прогулки и удалился в сарай...

Кстати, я сохранил до конца войны и привез на Родину справочник члена НСДАП, принадлежавший Фрицу. Открывался он заповедями, которые следовало помнить нацистам, да и всей немецкой нации. Самая первая, наиважнейшая из них гласила: «Der Führer hat immer recht» («Фюрер всегда прав»). Нацист Фриц своей жизнью подтвердил безвозможность заповедей фюрера. А сколько всего соотечественников его из-за них во Вторую мировую полегло? Вроде бы до 9 миллионов...

Но, наверно, пора уже кончать с печальными и страшными сюжетами в танковой разведке и переходить к развлечениям — какая же разведка без фронтовых развлечений?

Прикарпатская баня

В том же прикарпатском селе, вблизи которого Мите пришлось прикончить своего друга Фрица, случилась и другая история, в которой участвовали с одной стороны — майор Глыбовский и я, а с другой — несколько молоденьких, но вполне искушенных в делах житейских медсестер нашего поджавшегося поближе к штабу медсанбата.

Сидение нашего мехкорпуса под Станиславом было долгим, недели две-три, и в селе, где мы расположились, добрыми людьми была устроена баня. У дверей ее в один из дней нашей серой армейской жизни майор Глыбовский и я столкнулись с пятью медсестрами. Пришли мы помываться первыми (от разведотдела до бани было метров 300). Медсестрам пришлось одолеть километр-полтора, и ждать им, пока мы с майором помоемся, совершенно не хотелось. А нам не хотелось усту-

пать им очередь и ждать, пока перемоются пять баб; «долгая это процедура», — бросил мне многоопытный майор.

И вот, в результате словесной баталии, в ходе которой ни одна из сторон не пожелала сдавать свои позиции, все вместе оказались как-то неожиданно для них самих в одном и том же крохотном предбаннике, затем одновременно и демонстративно, насколько сделать это было здесь возможно, стали, повернувшись спинами друг к другу, раздеваться.

Вся эта боевая операция, которой с нашей стороны руководил майор, с присущим ему талантом, знанием сильных и слабых сторон противника, а главное, его тайных намерений, кончилась тем, что мы вместе начали мыться в бане, заняв разные ее углы. Здесь я увидел воочию, а не на картинке какой, совершенно нагое женское тело. Правда, какое оно в деталях, толком я тогда не разобрал — в бане было чертовски много пару и визгу, особенно на приступках печки и у бадьи с водой, но я, в отличие от майора, попариться вместе с сестрами так и не посмел, больше смотрел...

Как видите, совершив сюжетный ход, я снова вернулся к знаменитому со времен Чернышевского женскому вопросу и продолжу свой рассказ о том, что произошло не только с Сан Санычем, но и со мной в маленьких немецких городках, сначала в Кирххайне, потом в Гере...

Deine Lotti

...Как всегда, первым въехал в Кирххайн наш разведотдельский бронетранспортер. Было еще не поздно — часов шесть вечера. Но городок словно вымер. Улица была пустынна и полчаса спустя, когда я вышел на порог того дома, что на Моргенштрассе 12, где расположился наш разведотдел. И только из дверей соседнего дома, что рядом — Моргенштрассе, 14, выглядывала немецкая девушка. Затем она вышла — в темно-синих брючках, очень тоненькая и аккуратная, привлекательная, ей было на вид пятнадцать-шестнадцать. А о том, что встречать немецким девушкам Советскую армию вообще-то не стоило, я, военпереводчик 1-го разряда, знал не меньше, а может быть, больше других. Ведь именно к нам, в разведотдел 8-го Гв. механизированного корпуса как-то сами собой стекались, как я уже говорил, все жалобы обиженного нашими солдатами или самой войной населения.

В витебских наших лесах зимой 43/44-го я здорово погрелся у пылающих русских изб — дома не только в деревнях, но и в городках России больше деревянные, и очень жарко горели они, когда их поджигали

отходившие немцы, чтобы дать погреться как следует нам, солдатам, бабам, старикам, но особенно детям, жившим в этих домах. Но я видел и то, как горели уже весной 45-го — горели просто так, безо всякого приказа или какой-либо военной надобности — немецкие городки. Горели через день-два после того, как их целехонькими брали бригады нашего мехкорпуса или наш разведбат, горели, хотя все дома были в немецких деревнях и городках каменные.

Можете называть войну какой угодно: справедливой или несправедливой, революционной или контрреволюционной, оборонительной или наступательной, захватнической или освободительной. Но для меня она означает только одно — смертоубийство, превращение человека в нечеловека или пробуждение в человеке зверя — выбирайте, как вам больше понравится. Разница была лишь в том, что в освободительной войне передо мной были захватчики — а это уже не «люди». Нелюдей я и убивал, большей частью коллективно, хотя и не только. А зачем и для чего я заходил порой в брошенные хозяевами-немцами каменные дома, я теперь скажу откровенно — чтобы послать посылку маме на Родину (тогда все мы посылали через военпочту посылки домой). Правда, до этого немцы грабили французские, бельгийские, русские, украинские, белорусские, да и другие города, так что мы вроде бы были квиты. Но даже если вы все же так считаете, то и тогда не стоит забывать о том, что есть война.

Кстати, куда хуже войн отечественных, национально-освободительных и прочих справедливых войны гражданские. Пленных в них на месте расстреливают или же... вливают в свои части, командиров и комиссаров предварительно расстреляв.

«А Вы не боитесь русских?» — завязал я разговор с молоденькой соседкой.

«Боюсь, — призналась она. — Но и дома сидеть не могу. Ставни закрыты, еще страшнее. Лучше постоять здесь на улице, на машины посмотреть».

«А Вы не бойтесь, — сострил я великодушно. — Мы живем теперь рядом, если что — стучите прямо в стенку...».

Так началось мое знакомство с Шарлоттой Шульце, единственной дочкой добропорядочного бюргера маленького городка Кирххайн, проживающей на Моргенштрассе, 14. Матери у Шарлотты не было, а лет ей оказалось ровно столько, сколько и мне, — двадцать. А в том, что Шарлотта была по-настоящему прелестна, я и сейчас убеждаюсь каждый раз, взглянув на ее фотографию, которая лежит рядом с моими прочими документами, фотографиями, регалиями в левом верхнем ящике моего письменного стола (ныне представляю ее в моей книге и вам).



Deine Lotti. 25 июня 1945 года.

Свое сокращенное имя «Lotti» Шарлотта написала в нижнем правом углу карточки, на ее лицевой стороне. Слева ее рукой проставлена дата: «25 Juni, 1945». На обороте карточки бегут вязью строчки «Dir, lieber Eugen, zur bleibenden Erinnerung. Deine Lotti» (Тебе, дорогой Евгений, на всю оставляемую тебе долгу память. Твоя Лотти).

Бог ты мой! 60 лет уже прошло со дня 25 июня 1945 года! Это день нашего расставания, конец моей первой в жизни любви, черта, за которой кончилась моя юность. Но до этой черты пробежали целых полтора месяца...

Впрочем, не бойтесь, читатель, рассказ мой будет не долг, ибо что такое первая любовь в юности, знают все или почти все.

У наших домов, как я выяснил в первый же день на-

шего знакомства, были рядом не только парадные двери, которые выходили на улицу, но и двери черного хода — и выходили они в один и тот же сад. Калитка сада открывалась на одну из улочек Кирххайна. А пройдя с полкилометра, можно было выйти на окраину городка. Там стоял домик, в котором жила подруга Лотти — Клара. Ее парень, помнится, его звали Ганс, пропал где-то в 43-м на Восточном фронте и, кто знает, не срубил ли его осколок одной из тех пудовых мин, десятки и десятки которых повывлеывал в 43-м в витебских лесах гулкий до боли в ушах мой 120 мм миномет, судорожно, как лягушка, скакавший при каждом выстреле и вечно сбивавший у меня прицел. Но ненависти у Клары к русскому солдату не было, было любопытство, было желание помочь подруге скрыть ее великую тайну, и была надежда на то, что ее Ганс все-таки вернется в Кирххайн, хотя я полагаю, что вряд ли это произошло —

его наверняка убил если не мой осколок, то чей-нибудь еще или чья-нибудь пуля; он служил рядовым пехотинцем...

В домике Клары я учился танцевать под призывные звуки немецких танго, слушал шемящие душу шлягеры о дальних странах и долгих плаваньях (немцы — большие любители таких песен), и мне кажется, что здесь я в первый раз услышал песню, которая в России зовется «Голубка». Здесь я упивался немецкой — но совсем иной, чем на допросах, речью; в ней не было совсем слов «Truppen», «Panzer», «Angriff», а были какие-то совсем другие слова. Впрочем, их, хотя и не все, я знал из поэзии Генриха Гейне, и они уже до войны волновали меня. Как раз при уходе моем в армию у меня появился и томик стихов Гейне — подарок моего пензенского учителя немецкого языка, и я таскал его на фронте в солдатском вещмешке, пока не потерял вместе с вещмешком в одной из боевых передраг. Некоторые из стихов Гейне позднее я перевел на русский язык, раздобыв его сочинения уже в Германии, вы их увидите в конце книги.

Но теперь немецкие любовные слова стали чем-то вроде второй родной мне речи (что в этом плохого?) — родной через голосок Лотты, через странные ее выражения, вроде «Du, Mensch» (Ты, человек), которые не отыщешь ни в одном немецко-русском фразеологическом словаре. А слова простенькой песенки, которую я услышал на пластинке Клары, на немецком, я запомнил на всю жизнь, хотя песенка сама по себе вроде бы и не стоит того, чтобы ее запоминать; но она и не существует для меня «сама по себе», а только вместе с памятью о Лотте:

Am Abend auf der Heide,
Da küsstet wir uns beide.
Und deine Lippen sprach,
Was keiner weiss,
Was keiner weiss,
Nur ich...

Уже вернувшись в Россию, я как-то перевел слова этой песенки с одного языка на другой, не знаю, как перевод получился:

В тот вечерок на поле
Мы целовались вволю,
И говорил мне голос твой,
И говорил мне шепот твой,
Что знаем только мы с тобой,
Что знаем только мы с тобой —
Никто другой...

Лотти, Лотти, жива ли ты, как живешь?

Убегали одна за другой сначала майские, затем июньские недели — недели моей с Лоттой первой любви, а сколько ей суждено было продлиться, решали не мы с ней, вопреки мнению тех великих и величайших философов, которые уверяют, что человек — хозяин своей судьбы и волен решать во всех действиях своих все сам. К великому моему сожалению, это сказано не о солдатской судьбе... Решал в данном случае нашу судьбу даже не командир нашего мехкорпуса генерал Дремов, про которого поговаривали офицеры, что был он не очень-то даровитым генералом и, наверное, погубил несколько десятков лишних танковых экипажей из пары тысяч тех, которые все равно должен был погубить. Решал это даже не Главнокомандующий наш, там в Москве, про которого мы, фронтовики, ничего тогда не говорили, больше помалкивали — в отличие от нынешних времен. Даже он не был властен над судьбами нашей с Лоттой любви, хотя распоряжался судьбами миллионов, не один миллион из них так или иначе отправил на тот свет, и, отправляя их, по своей, мне, историку, понятной подозрительности, чересчур уж много, сказал он именно в те страшные 30-е годы «ежовщины» свои золотые слова: «Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и решающим капиталом являются люди, кадры». Кто не согласится с мудростью этих вот слов?

Но не надо уходить от темы рассказа. Сколько времени продлится наша с Лоттой любовь, зависело не от Москвы, а от Вашингтона. Американцы не очень-то торопились очищать германскую землю Тюрингия, которая по Высокому Соглашению была отнесена к Советской оккупационной зоне. В Вашингтоне все чего-то тянули и ждали, а потому ждала и наша 1-я Гв. танковая армия, пополненная — в который раз! — присланными с Урала новенькими зеленоватыми танками Т-34 и вернувшимися из госпиталей русскими, украинскими, грузинскими парнями, — ждала, чтобы своевременно переместиться союзникам под бок, так сказать, на всякий случай, ибо слова «согласие, дружба, соглашение, доверие, клятва» имеют в политике смысл совсем особый, непохожий на смысл, который они имеют в простых человеческих отношениях. Хотя — не будем лицемерить — и в простой жизни далеко не все так обстоит благополучно со смыслом этих самых слов...

Американцы помедлили несколько недель, а потом все же отошли.

Так вот почему в ту ночь я простился с Лоттой, а рано утром наш разведотдельский бронетранспортер, заурчав, выполз на автостраду, ведущую на юг, в германскую землю Тюрингия. Через пару дней мы — передовая группа нашего мехкорпуса — должны были прибыть в Геру, тоже

маленький городок, произвести разведку и подготовить в нем месторасположение нашего Штаба — он во время войны и после нее всегда прятался в маленьких местечках и городках...

Как видите, не все военные обычаи мы после войны отбросили, осторожность никому еще не вредила...

71:0

В тот день, мы в пять утра, 5.00, говоря словами приказа, полученного в разведотделе, выехали в Геру, куда должны были прибыть через два дня, ровно в 17.00. Гера, впрочем, была чуть побольше Кирххайна.

Пейзажи описывать я не мастер и, честно говоря, вообще не помню многие наверняка прекрасные места, которые мне удалось увидеть за годы войны, и тогда, когда я с ребятами из минометной батареи 120 мм таскался по витебским лесам, и особенно потом, когда я уже попал в танковые части и на разведотдельском бронетранспортере мотался по дорогам Прикарпатья, Западной Украины, Польши, Германии; кстати, на этом же самом бронетранспортере мы ехали теперь в Геру.

И все же кое-что моя память удерживает до сих пор — и удерживает намертво.

Отчетливо, до деталей, помню ту поляну — в каком-то лесу на Витебщине под Демидовым, где мы остановились на подходе к передовой; всего лишь день назад выгрузилась из эшелонов наша Минбатарея. На поляне стояла большая сосна. И под ней, на бугорке, располагалась минометная батарея 120 мм. Немцы вели по лесу рассеянный огонь. «Погодите, ребята, еще успеете наклоняться», — поучал нас побывавший ранее на фронте комвзвода, когда мы прижимались к земле, услышав невдалеке очередной разрыв снаряда. Но это было до



Гвардии старшина Плимак.
25 июня 1945 года.

обеда. А во время обеда снаряд немецкого дальнобойного угодил прямо в сосну, показав нам, что в жизни существует смерть, а в жизни фронтовой — всегда рядом. А вместе с сосной снаряд срубил добрую треть еще не нюхавшей пороху нашей батарее, срубил вместе с умудренным фронтовым опытом комвзвода. И я никогда не забуду, как на том самом месте, с которого мы вдвоем с командиром моего миномета Колькой клали его, молоденького, всего год как из училища, на повозку (а это было уже после того, как комбат — плеткой и матом — согнал нас, разбежавшихся после взрыва снаряда по лесу), заблестела синеватая лужица. И еще я помню, что, когда мы с Колькой поднимали лейтенанта на повозку, я старался не смотреть на его живот.

Прекрасно помню до сих пор какой-то мостик в Прикарпатье — на нем в мартовский гололед 1944-го вынужден был притормозить шофер грузовичка, на котором я догонял 8-й мехкорпус. Грузовичок пошел юзом, сбил перила моста и завис на речкой одним из задних колес. Эта весенняя речушка весело, с рокотом бежала по каменистому дну, и лететь до этого дна мне бы пришлось метров 7—8, будь скорость у грузовичка чуть побольше.

А еще я запомнил накрепко небольшой двухэтажный дом в каком-то городке по дороге к Одеру, хотя многие дома в Германии двухэтажные и все каменные. Ночь тогда была такая светлая, лунная... И вдруг из крайнего правого окна дома на втором его этаже стал бить по нашей остановившейся в городке колонне немецкий пулемет, а по пулемету сразу же ударил из своего крупнокалиберного американского командир нашего бронетранспортера Митя Бовтрюк, ударил без промаха, и главное — его крупный калибр взял каменную стенку дома, немец замолк. Но обнаружил растерявшийся немецкий пулеметчик не только себя, но и какое-то наиважнейшее предназначение охраняемого им объекта — через дом шла, видимо, связь Восточного фронта Германии с Берлином! Дом со всем его гарнизоном разведчики наши взяли штурмом, все провода порвали, начальника объекта после допроса расстреляли — не везти же нам его с собой nach Berlin! А полным обрывом немецкой связи воспользовались: через сутки после этого случая, словно на параде каком и даже сами того не ведая, проследовали мощные колонны Т-34 1-й Гв. танковой — по открытому пустынному шоссе — через *спящие восточные укрепрайоны* Германии; мы приближались, совершенно неожиданно для противника, к Одеру..

Но и эту бежавшую под колеса бронетранспортера великолепную, тоже без единой машины или человека, дорогу на Геру, с сосновым бором по бокам, — с востока уже пробивались лучи солнца, — я запомнил на всю жизнь. Запомнил не по причине пережитого здесь смер-

тельного страха. Мы ехали по «ничейной» и, главное, совершенно мирной теперь земле, нам не надо было выискивать тревожно в небе зловещие черточки «мессеров», не надо было — до боли в глазах — вглядываться в опушки лесков и окраины городков, к которым мы приближались.

Позади была война, впереди — вся жизнь, которую ты в свои двадцать лет узнал уже со страшной ее стороны и почти совсем еще не знал с других ее сторон. Жизнь манила неизвестностью — неизвестностью, из которой ушла постоянно присутствовавшая в ней смерть, ушла так далеко, что, казалось, ее вообще не было в жизни и не будет. И что греха таить — да, там в Кирххайне оставалась Лотта, но в тот час на этой залитой июньским солнцем мирной дороге в душе было только одно ощущение — ощущение полной безмятежности и пьянящего безмерного счастья...